

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе  
в 2020/2021 учебном году. Муниципальный этап  
11 класс**

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в один день. При проведении олимпиады необходимо выделить несколько аудиторий для каждой параллели. Участников олимпиады желательно разместить по одному человеку за партой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей разных видов, средств мобильной связи) исключается. Работы пишутся только в прозаической форме. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри. Участникам муниципального тура олимпиады предлагается выполнить два типа заданий: аналитическое и творческое. Время выполнения первого задания — 3,5 астрономических часа (210 минут), максимальный балл — 70. Время выполнения творческого задания — 1,5 астрономических часа (90 минут). Максимальный балл — 30. Максимальный общий балл за работу — 100, время выполнения заданий — 5 астрономических часов (300 минут).

Оценка за работу выставляется в виде последовательности цифр — оценок по каждому критерию. Обязательно оцениваются:

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений». Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 — 10 — 20 — 30.

2. Композиционная стройность работы и ее стилистическая однородность. Уместность цитат и отсылок к тексту. Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 — 5 — 10 — 15.

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 — 3 — 7 — 10.

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования фонового материала из области культуры и литературы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 — 3 — 7 — 10.

5. Общая языковая и речевая грамотность. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 1 — 2 — 3 — 5. Максимальный балл — 70 баллов.

Задания выдаются вместе с критериями их оценивания.

## Память

Только змеи сбрасывают кожи,  
Чтоб душа старела и росла.  
Мы, увы, со змеями не схожи,  
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши  
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,  
Ты расскажешь мне о тех, что раньше  
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,  
Полюбивший только сумрак рощ,  
Лист опавший, колдовской ребенок,  
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака —  
Вот кого он взял себе в друзья,  
Память, память, ты не сыщешь знака,  
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... Любил он ветер с юга,  
В каждом шуме слышал звоны лир,  
Говорил, что жизнь — его подруга,  
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это  
Он хотел стать богом и царем,  
Он повесил вывеску поэта  
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,  
Мореплавателя и стрелка,  
Ах, ему так звонко пели воды  
И завидовали облака.

Высока была его палатка,  
Мулы были резвы и сильны,  
Как вино, впивал он воздух сладкий  
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,  
Тот ли это или кто другой  
Променял веселую свободу  
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,  
Сон тревожный, бесконечный путь,  
Но святой Георгий тронул дважды  
Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий  
Храма, восстающего во мгле,  
Я возревновал о славе Отчей,  
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо  
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —  
И прольется с неба страшный свет,  
Это Млечный Путь расцвел неожиданно  
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,  
Путник, скрыв лицо; но все пойму,  
Видя льва, стремящегося следом,  
И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,  
Чтоб моя душа не умерла?  
Только змеи сбрасывают кожи,  
Мы меняем души, не тела.

Пассажир

-- Да, жизнь талантливее нас,-- вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара.-Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до нее! Ее произведения непередаваемы, непередаваемы...

-- Все права закреплены за автором,-- улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

-- Нам остается только жулить,-- продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика.-- Нам остается делать с ее творениями то, что делает фильм режиссер с известным романом. Режиссеру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей,-- и все для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце -- порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабженный неожиданной, но все разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размахисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказы,-- ad usum delphini. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье,-- холодноватое белье на койке, фонари станции, которые тронувшись медленно проходят за черным стеклом окна. Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки,-- и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чем,-- мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц,-- я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он,-- этот старый, хорошо вам известный прием. "Среди ночи я внезапно проснулся". Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

-- Виноват? -- переспросил скромный критик, подавшись вперед и подняв указательный палец.

-- Я увидел ногу,-- повторил писатель,-- Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и ее обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галерку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в черную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волосы. Вообще нога была препротивная. Пока я на нее смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттолкнулась и взвилась вверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание,-- все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить,-- эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пестрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидел. Его койка, которая образовывала надо мной низкий, темный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощущал ее тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, все у меня торчал перед глазами этот крупный ноготь, блестящий синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать,-- "о ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шел. Я прислушивался,-- не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне показалось, что он не храпит, а стонет,-- но, как известно, ночной колесный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней койке рыдал.

-- Как вы сказали?-- прервал критик.-- Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал.-- И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

-- Да, он рыдал,-- и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то

страшная пародия на кудахтание,-- и опять вдыхание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом,-- судя по хахакающему звуку. И все это на шатком фоне колесной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой всходили и спускались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал,-- и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглупое лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут еще я был невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчавшемся поезде. И он не унимался,-- это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я -- внизу -- слушающий,-- он -- наверху -- рыдающий, летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы рассечь нашу невольную связь. Потом он как будто перестал,-- но только я собрался уснуть, снова заклокотали его рыдания, и мне казалось даже, что вперемежку со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я все-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня, и, сидя на койке, поминутно стучаясь головой о край верхней койки, я стал поспешно одеваться. Перед тем как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, синяя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берез,-- и ослепительно просиял удлинённый прудок посередине поля, медленно сузился, превратился в серебряную щель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога,-- и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещренные березы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано,-- упоительнейший рассвет в мире не может мне заменить часы сладкого утреннего сна,-- и поэтому я только хмуро кивнул, когда старичок обратился ко мне: "Вы тоже вылезаете в...?" И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять-- пятнадцать минут.

Березы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стеклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стекла, трубы, одним словом, происходило все то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся.-- "Закройте окно",-- вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошел кондуктор; я спросил, в чем дело. "В поезде находится преступник",-- ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, через который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство,-- муж застрелил жену и ее любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощекий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера. Меня попросили вернуться в купе. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купе, на верхней койке неподвижно лежала темная, завернутая с головой фигура. "Вы можете выйти",-- сказал мне сыщик и протянул руку наверх на койку, "Ваши бумаги, пожалуйста". Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нем еще просвистывают отзвуки ночных рыданий. "Пожалуйста, проснитесь",-- громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дернул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купе.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчетливо потребовал документы, отчетливо поблагодарил, вышел из купе, вошел в следующее. Вот и все. А ведь казалось, как вышло бы великолепно,-- с точки зрения писателя, конечно,-- если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы,-- и, главное, как великолепно все бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжеванную и замусленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

-- Признайтесь,-- опять заговорил писатель,-- вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир -- преступник?

-- Я знаю вашу манеру,-- сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдернув руку...-- Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне законченный рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул:

-- Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю....

-- Я заступаюсь за слово,-- мягко сказал критик.-- Вы, писатель, по крайней мере создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале. У меня был знакомый,-- взрослый мужчина необычайно воинственной наружности,-- который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

### **Творческое задание**

Представьте возможный диалог двух литературных героев из разных произведений русской литературы — Чичикова со Штольцем или Остапом Бендером (на выбор). Какую конкретную проблему они могли бы обсудить, продумайте их мировоззренческие позиции. Необходимо изобразить героев в диалоге так, чтобы был сохранен их характер, убеждения, манера общения.

Критерии оценки (максимальный балл -30):

1. Знание проблематики привлекаемых произведений — 5 баллов.
2. Какая общая тема, характерная для данных произведения, могла бы стать предметом разговора двух литературных героев — 5 баллов.
3. Сохранение художественной логики автора произведений и строгое следование ей — 5 баллов.
4. Знание художественного текста, точность приводимых литературных цитат — 5 баллов.
5. Композиционная стройность работы, образность и стилистическая однородность — 5 баллов.
6. Грамотность письменной речи — 5 баллов.